

К. Иксуль

НЕВЕРОЯТНОЕ ДЛЯ МНОГИХ, НО ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ



2017 г.

Эта книга — подлинный рассказ очевидца, душа которого выходила из тела, о том, что ждет каждого из нас после смерти.

Рассказ был напечатан в начале XX века в «Московских Ведомостях», а в 1910 году был издан отдельной брошюрой Троице-Сергиевой Лаврой («Троицкий листок» № 58, г. Сергиев Посад). Редакция Лавры в свое время имела переписку с автором, который подтвердил истинность происшествия, присовокупив, что лицо, от имени коего ведется рассказ, после описанного события поступило в монастырь.

Протоиерей Валериан Кречетов вспоминал (1.04.2004 г.), как он причащал старую жительницу Москвы, Любовь Эдуардовну Коноплеву. И, давая ему эту книгу, «Невероятное для многих, но истинное происшествие», она рассказала, что человека, о котором в ней говорится, она знала. Тот жил в переулке Сивцев Вражек на Арбате, а они жили неподалеку, и, конечно, до них дошло то, что с ним случилось такое: человек в гробу встал, ожил! Они были девушками, им хотелось посмотреть на него, они его караулили. Когда проходили мимо его дома, шторы на его окнах всегда были закрыты. Он никуда не ходил, кроме храма. Выходя на улицу, шел, опустив глаза, ни на кого не смотрел, был всегда сосредоточен. Было это, видимо, в начале XX-го века, она умерла в возрасте 99-ти лет.



НЕВЕРОЯТНОЕ ДЛЯ МНОГИХ, НО ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

I

Многие наш век называют «веком отрицания» и объясняют такую характерную особенность его духом времени.

Не знаю, возможны ли тут вообще такие подоби́я: эпидемий, поветрий, — но несомненно, что, кроме этих, так сказать, эпидемических отрицаний, немало есть у нас и таких, которые всецело выросли на почве нашего легкомыслия. Мы зачастую отрицаем то, чего совсем не знаем, а то, о чем слышали, то не продумано у нас и тоже отрицается, и этого непродуманного накаплиются целые вороха, и в голове получается невообразимый хаос: какие-то обрывки разных и иногда совсем противоречивых учений, теорий, и ничего последовательного, цельного, и все поверхностное, не-

ясное и туманное для нас самих, до полной невозможности разобраться в чем-нибудь. Кто мы, что мы, во что веруем, какой носим в душе идеал и есть ли он у нас — все это для многих из нас такие же неведомые вещи, как мирозерцание какого-нибудь патагонца или бушмена. И удивительная странность здесь: кажется, никогда люди не любили так много рассуждать, как в наш просвещенный век, и рядом с этим самих себя не хотят осмыслить. Говорю это и по наблюдениям над другими, и по личному сознанию.

Не буду вдаваться здесь в общую характеристику моей личности, так как это не к делу, и постараюсь представить себя читателю только в моих отношениях к религиозной области. Как выросший в православной и довольно набожной семье и затем учившийся в таком заведении, где неверие не почиталось признаком гениальности ученика, из меня не вышел ярый, завзятый отрицатель, какими были большинство молодых людей моего времени. Получилось из меня, в сущности, что-то весьма неопределенное: я не был атеистом и никак не мог считать себя сколько-нибудь религиозным человеком, а так как то и другое являлось не следствием моих убеждений, но сложилось лишь в силу известной обстановки, то и прошу читателя самого подыскать должное определение моей личности в сем отношении.

Официально я носил звание христианина, но, несомненно, никогда не задумывался над тем, имею ли я действительно право на такое звание:

никогда мне даже и в голову не пришло проверить, чего требует оно от меня и удовлетворяю ли я его требованиям. Я всегда говорил, что я верую в Бога, но если бы меня спросили, как я верую, как учит веровать в Него Православная Церковь, к которой я принадлежал, я, несомненно, стал бы в тупик. Если бы меня последовательно и обстоятельнее спросили, верую ли я, например, в спасительность для нас воплощения и страданий Сына Божия, в Его Второе Пришествие как Судии, как отношусь я к Церкви, верую ли в необходимость ее учреждения, в святость и спасительность для нас ее таинств и прочее, я воображаю только, каких нелепостей наболтал бы я в ответ. Вот образчик.

Однажды бабушка моя, которая сама всегда строго соблюдала пост, сделала мне замечание, что я не исполняю этого.

— Ты еще силен и здоров, аппетит у тебя прекрасный, стало быть, отлично можешь кушать постное. Как же не исполнять даже и таких установлений Церкви, которые для нас и нетрудны?

— Но это, бабушка, совсем бессмысленное установление, — возразил я. — Ведь и вы кушаете только так, машинально, по привычке, а осмысленно никто такому учреждению подчиняться не станет.

— Почему же бессмысленное?

— Да не все ли равно Богу, что я буду есть: ветчину или балык?

Не правда ли, какая глубина понятий образованного человека о сущности поста!

— Как же это ты так выражаешься? — продолжала между тем бабушка. — Разве можно говорить: бессмысленное установление, когда Сам Господь постился?

Я был удивлен таким сообщением и только при помощи бабушки вспомнил евангельское повествование об этом обстоятельстве. Но то, что я совсем забыл о нем, как видите, нисколько не мешало мне пуститься в возражения, да еще довольно высокомерного тона.

И не подумай, читатель, что я был пустоголовее, легкомысленнее других молодых людей моего круга.

Вот вам еще один образец.

Одного из моих сослуживцев, слывшего за человека начитанного и серьезного, спросили, верует ли он во Христа как в Богочеловека. Он отвечал, что верует, но сейчас же из дальнейшего разговора выяснилось, что Воскресение Христа он отрицает.

— Позвольте, да вы же говорите что-то очень странное, — возразила одна пожилая дама. — Что же, по-вашему, далее воспоследовало со Христом? Если вы веруете в Него как в Бога, как же вместе с этим вы допускаете, что Он мог совсем умереть, то есть прекратить Свое бытие?

Мы ждем какого-нибудь хитроумного ответа от нашего умника, каких-нибудь тонкостей в понимании смерти или нового толкования означенного события. Ничуть не бывало. Отвечает просто:

— Ах, этого я не сообразил! Сказал — как чувствовал.

II

Рот совершенно подобная же несообразность засела и по недосмотру свила себе прочное гнездо и в моей голове.

Я веровал в Бога как будто так, как и следовало, то есть понимал Его как Существо личное, всемогущее, вечное, признавал человека Его творением, но в загробную жизнь не верил.

Недурной иллюстрацией к легкомыслию наших отношений и к религии, и к своему внутреннему устройению может служить то, что я и не знал в себе этого неверия, пока, так же как и вышеупомянутого моего сослуживца, его не обнаружил случай.

Судьба столкнула меня в знакомстве с одним серьезным и очень образованным человеком; он был при этом и чрезвычайно симпатичен и одинок, и я время от времени охотно посещал его.

Придя однажды к нему, я застал его за чтением катехизиса.

— Что это вы, Прохор Александрович (так звали моего знакомого), или в педагоги собираетесь? — удивленно спросил я, указывая на книжку.

— Какое, батенька мой, в педагоги! Хоть бы в школьники порядочные попасть. Где уж других учить! Самому надо к экзамену готовиться. Ведь седина-то, видите, чуть не с каждым днем увеличивается, того и гляди вызовут, — со своею обыкновенною добродушною улыбкой проговорил он.

Я не принял его слов в подлинном значении, подумав, что ему, как человеку, всегда много читающему, просто понадобилась какая-нибудь справка в катехизисе. А он, желая, очевидно, объяснить странное для меня чтение, сказал:

— Много всякой современной чепухи читать приходится, вот и проверяю себя, чтобы не сбиться. Ведь экзамен-то нам предстоит грозный, грозный уж тем, что никаких передержек не дадут.

— Но неужели вы верите этому?

— То есть как же это не верить? Куда же я денусь, позвольте узнать? Неужели так-таки и рассыплюсь в прах? А если не рассыплюсь, так уж тут и вопроса не может быть о том, что к ответу потребуют. Я не пень, я с волей и разумом, я сознательно жил и... грешил...

— Не знаю, Прохор Александрович, как и из чего могла сложиться у вас вера в загробную жизнь. Думается, умер человек — и всему тут конец. Видишь его бездыханным, все это гниет, разлагается, о какой же жизни может явиться тут представление? — проговорил я, тоже высказывая, что чувствовал, и как, стало быть, сложилось у меня понятие.

— Позвольте, а куда же Лазаря Вифанского прикажете мне девать? Ведь это факт. И он ведь такой же человек, из той же глины слеплен, что и я.

Я с нескрываемым удивлением смотрел на моего собеседника. Неужели же этот образованный человек верит таким невероятностям?

А Прохор Александрович в свою очередь посмотрел на меня пристально с минуту и затем, понизив голос, спросил:

— Или вы невер?

— Нет, почему же? Я верую в Бога, — ответил я.

— А богооткровенному учению не верите? Впрочем, нынче и Бога стали различно понимать,

и богооткровенную истину стал чуть не каждый по своему усмотрению переделывать, какие-то классификации тут позавели: в это, мол, должно верить, а в это можно и не верить, а в это и совсем не надо верить! Как будто истин несколько, а не одна. И не понимают, что они уж веруют в продукты собственного ума и воображения и что, если так, тогда уж для веры в Бога тут нет места.

— Но нельзя же всему верить. Иногда встречаются такие странные вещи...

— То есть непонятные? Заставьте понять себя. Не удастся — знайте, что вина здесь в вас, и покоритесь. Начните простолюдину толковать о квадратуре круга или о еще какой-нибудь премудрости высшей математики, он тоже ничего не поймет, но из этого не следует, что и самую эту науку следует отрицать. Конечно, отрицать легче, но не всегда... лепо.

Вдумайтесь, какую, в сущности, несообразность вы говорите: вы говорите, что в Бога веруете, а в загробную жизнь — нет. Но Бог не есть же Бог мертвых, но живых. Иначе какой же это и Бог? О жизни за гробом говорил Сам Христос, неужели же Он говорил неправду? Но в этом не могли обличить Его даже и Его злейшие враги. И зачем тогда приходил и страдал Он, если нам предстоит лишь рассыпаться в прах?

Нет, так нельзя. Это нужно непременно, непременно, — вдруг горячо заговорил он, — исправить. Ведь поймите, как это важно. Такая вера должна ведь совсем иначе осветить вашу жизнь, дать ей иной смысл, направить иначе всю вашу деятельность. Это целый нравственный перево-

рот. В этой вере для вас и узда, и в то же время и утешение, и опора для борьбы с неизбежными для всякого человека житейскими невзгодами.

III

Я понимал всю логичность слов почтенного Прохора Александровича, но, конечно, несколько минут беседы не могли поселить во мне веры в то, во что я привык не верить, и разговор с ним, в сущности, послужил лишь к обнаружению моего взгляда на известное обстоятельство — взгляда, которого я сам дотолде хорошо не знал, потому что высказывать его не приходилось, а раздумывать о нем и подавно.

А Прохора Александровича, по-видимому, серьезно взволновало мое неверие. Он несколько раз в течение вечера возвращался к этой теме и, когда я собрался уходить от него, он наскоро выбрал несколько книг в своей обширной библиотеке и, подавая их мне, сказал:

— Прочтите их, и непременно прочтите, потому что так этого оставлять нельзя. Я уверен, что рассудочно вы скоро поймете и убедитесь в полной неосновательности вашего неверия, но надобно это убеждение провести из ума в сердце, надо, чтобы сердце поняло, а иначе оно продолжится у вас час, день и опять разлетится, потому что ум — это решето, через которое только проходят разные помышления, а кладовая для них не там.

Я прочел книжки, не помню уж все ли, но оказалось, что привычка была сильнее моего разума.

Я признавал, что все написанное в этих книжках было убедительно, доказательно. По скудости моих познаний в религиозной области я и не мог возразить чего-нибудь мало-мальски серьезного на имевшиеся в них доводы, а веры у меня все-таки не явилось.

Я сознавал, что это нелогично, верил, что все написанное в книгах — правда, но чувства веры у меня не было, и смерть так и оставалась в моем представлении абсолютным финалом человеческого бытия, за которым следовало лишь разрушение.

К моему несчастью, случилось так, что вскоре после означенного разговора с Прохором Александровичем я выехал из того городка, где он жил, и мы больше с ним не встречались. Не знаю, быть может, ему, как человеку умному и располагавшему обаянием горячо убежденного человека, удалось бы хотя сколько-нибудь углубить мои взгляды и отношения к жизни и вещам вообще и через это внести и некоторое изменение в мои понятия о смерти, но предоставленный самому себе и не будучи вовсе по характеру особенно вдумчивым и серьезным молодым человеком, я нисколько не интересовался такими отвлеченными вопросами и по своему легкомыслию даже на первое время ни капельки не задумался над словами Прохора Александровича о важности недостатка в моей вере и необходимости избавиться от него.

А затем время, перемена мест, встреча с новыми людьми не только выветрили из моей памяти и этот вопрос, и беседу с Прохором Александровичем, но даже и самый образ его, и мое кратковременное знакомство с ним.

IV

Прошло немало лет. К стыду моему, должен сказать, что я мало изменился за истекшие годы нравственно. Хотя я находился уже в преполовлении дней моих, то есть был уже человеком средних лет, но в моих отношениях к жизни и себе не много прибывло серьезности. Я не осмыслил жизни, какое-то мудреное познание самого себя оставалось для меня такою же химерическою выдумкой, как рассуждения метафизика в известной басне того же имени, и я жил, водясь теми же грубоватыми, пустыми интересами, тем же лживым и довольно-таки низменным пониманием смысла жизни, какими живет большинство светских людей моей среды и образования.

На той же точке стояло и мое отношение к религии, то есть я по-прежнему не был ни атеистом, ни сколько-нибудь осмысленно набожным человеком. Я, как и прежде, ходил по привычке изредка в церковь, по привычке говел раз в год, по привычке крестился, когда полагалось, — и этим ограничивалось все. Никакими вопросами религии я не интересовался и даже не понимал, что там можно чем-нибудь интересоваться. Кроме, конечно, самых элементарных, азбучных понятий, я ничего не знал здесь, но мне казалось, что я отлично знаю и понимаю все и что все тут так просто, нехитро, что образованному человеку не над чем и голову трудить. Наивность уморительная, но, к сожалению, очень свойственная образованным людям нашего века.

Само собою разумеется, что при наличности таких данных ни о каком прогрессировании моего

религиозного чувства, ни о расширении круга моих познаний в этой области не могло быть и речи.

V

И вот в эту пору случилось мне попасть по делам службы в К. и заболеть серьезно.

Так как ни родных, ни даже своей прислуги в К. у меня не было, то и пришлось лечь в больницу. Доктора определили у меня воспаление легких.

В первое время я чувствовал себя настолько порядочно, что не раз даже думал, что из-за такого пустяка не стоило и ложиться в больницу, но по мере того, как болезнь развивалась и температура стала быстро подниматься, я понял, что с таким пустяком вовсе было бы не интересно валяться одному-одинешеньку в номере гостиницы. В особенности донимали меня в больнице длинные зимние ночи; жар совсем не давал спать, иногда даже и лежать было нельзя, а сидеть в койке и неловко, и утомительно; встать и походить по палате — не хочется, не то неможется; и так вертишься, вертишься в кровати: то ляжешь, то сядешь, то спустишь ноги, то сейчас же опять их подберешь и все прислушиваешься: да когда же это часы будут бить! Ждешь, ждешь, а они, словно назло, пробьют два или три, стало быть, до рассвета оставалась еще целая вечность. И как удручающе действует на больного этот общий сон и ночная тишина!словно живой попал на кладбище в общество мертвецов.

По мере того, как дело подвигалось к кризису, мне, конечно, становилось все хуже и труднее, по

временам начало так прихватывать, что уж было ни до чего, и я томительности бесконечных ночей не замечал. Но не знаю, чему следовало приписать это: тому ли, что я всегда был и считал себя человеком очень крепким и здоровым, или происходило это оттого, что до этого времени я ни разу не болел серьезно и голове моей чужды были те печальные мысли, какие навевают иногда тяжелые болезни, — только, как ни скверно бывало подчас мое самочувствие, как ни круты бывали в иные минуты приступы моей болезни, мысль о смерти ни разу не пришла мне в голову.

Я с уверенностью ожидал, что не сегодня-завтра должен наступить поворот к лучшему, и нетерпеливо спрашивал всякий раз, когда у меня вынимали градусник из-под руки, какова у меня температура. Но, достигнув известной высоты, она словно замерла на одной точке, и на мой вопрос я постоянно слышал в ответ: «сорок и девять десятых», «сорок один», «сорок и восемь десятых».

— Ах, какая же это длинная канитель! — с досадой говорил я и затем спрашивал у доктора, неужели же и мое поправление будет идти таким же черепашьим шагом.

Видя мое нетерпение, доктор утешал меня и говорил, что в мои годы и с моим здоровьем нечего бояться, что выздоровление не затянется, что при таких выгодных условиях после всякой болезни можно оправиться чуть не в несколько дней.

Я вполне верил этому и подкреплял свое терпение мыслью, что остается только как-нибудь дождаться кризиса, а там все сразу как рукой снимет.

VI

Родну ночь мне было особенно плохо: я метался от жара, и дыхание было крайне затруднено, но к утру мне вдруг сделалось легче настолько, что я мог даже заснуть. Проснувшись, первую мою мысль при воспоминании о ночных страданиях было: «Вот это, вероятно, и был перелом. Авось уж теперь конец и этим придушиваниям, и этому несносному жару».

И, увидав входившего в соседнюю палату молоденького фельдшера, я позвал его и попросил поставить мне градусник.

— Ну, барин, теперь дело на поправку пошло, — весело проговорил он, вынимая через положенное время градусник, — температура у вас нормальная.

— Неужели? — радостно спросил я.

— Вот, извольте посмотреть: тридцать семь и одна десятая. Да и кашель вас, кажется, не так беспокоил.

Я только тут спохватился, что я, действительно, с половины ночи совсем не кашляю и за все утро, хотя и шевелился и выпил несколько глотков горячего чая, тоже ни разу не кашлянул.

В девять часов пришел доктор. Я сообщил ему, что ночью мне было нехорошо, и высказал предположение, что, вероятно, это был кризис, но что теперь я чувствую себя недурно и перед утром мог даже заснуть несколько часов.

— Вот это и отлично, — проговорил он и подошел к столу посмотреть лежащие на нем какие-то таблички или списки.

— Градусник прикажете ставить? — спросил у него в это время фельдшер. — Температура у них нормальная.

— Как нормальная? — быстро подняв голову от стола и с недоумением глядя на фельдшера, спросил доктор.

— Так точно, я сейчас смотрел.

Доктор велел вновь поставить градусник и даже сам посмотрел, правильно ли он поставлен. Но на этот раз градусник не дотянул и до тридцати семи: оказалось тридцать семь без двух десятых.

Доктор достал из бокового кармана сюртука свой градусник, встряхнул, повертел его в руках, очевидно, удостовераясь в его исправности, и поставил мне.

Второй показал то же, что и первый.

К моему удивлению, доктор не выразил ни малейшей радости по поводу этого обстоятельства, не сделал даже, ну хотя бы из приличия, сколько-нибудь веселой мины и, повертевшись как-то суетливо и безтолково у стола, вышел из палаты, и через минуту я услышал, что в кабинете зазвенел телефон.

VII

Рскоре явился старший врач; они вдвоем выслушали, осмотрели меня и велели чуть не всю мою спину облепить мушками; затем, прописав микстуру, они не сдали мой рецепт с прочими, но послали отдельно с ним фельдшера в аптеку, очевидно, с приказанием приготовить его не в очередь.

— Послушайте, чего это вы вздумали теперь-то, когда я чувствую себя совсем неплохо, жечь меня мушками? — спросил я у старшего доктора.

Мне показалось, будто доктора смутил или раздосадовал мой вопрос, и он нетерпеливо ответил:

— Ах, Боже мой! Да нельзя же вас бросить уж сразу безо всякой помощи на произвол болезни, потому что вы чувствуете себя несколько лучше! Надо же повытянуть из вас всю ту дрянь, что накопилась там за это время.

Часа через три младший доктор снова заглянул ко мне, он посмотрел, в каком состоянии были поставленные мне мушки, спросил, сколько успел я принять ложек микстуры. Я сказал: три.

— Кашляли вы?

— Нет, — отвечал я.

— Ни разу?

— Ни разу.

— Скажите, пожалуйста, — обратился я по уходе врача к вертевшемуся почти неотлучно в моей палате фельдшеру, — какая мерзость наболтана в этой микстуре? Меня тошнит от нее.

— Тут разные отхаркивающие средства, немножко и ипеакаваны есть, — пояснил он.

Я в данном случае поступил как раз так, как зачастую поступают нынешние отрицатели в вопросах религии, то есть, ровно ничего не понимая из происходящего, я мысленно осудил и укорил в непонимании дела докторов: дали, мол, отхаркивающее, когда мне и выхаркивать нечего.

VIII

Между тем спустя часа полтора или два после последнего посещения докторов ко мне в палату снова явились их целых три: два наших и третий какой-то важный и осанистый чужой.

Долго они выстукивали и выслушивали меня; появился и мешок с кислородом. Последнее несколько удивило меня.

— Теперь-то к чему же это? — спросил я.

— Да надо же профильтровать немножко ваши легкие. Ведь они небось чуть не испеклись у вас, — проговорил чужой доктор.

— А скажите, доктор, чем это так пленила вас моя спина, что вы так хлопчете над нею? Вот уж в третий раз за утро выстукиваете ее, мушками всю расписали.

Я чувствовал себя настолько лучше сравнительно с предыдущими днями и поэтому так далек был мыслью от всего печального, что никакие аксессуары, должно быть, не способны были навести меня на догадки о моем действительном положении; даже появление важного чужого доктора я объяснил себе как ревизию или что-нибудь в этом роде, никак не подозревая, что он вызван был специально для меня, что мое положение требовало консилиума. Последний вопрос я задал таким непринужденным и веселым тоном, что, вероятно, ни у кого из моих врачей не хватило духа хотя бы намеком дать понять мне надвигавшуюся катастрофу. Да и правда, как сказать человеку, полному радостных надежд, что ему, быть может, остается всего несколько часов жить!

— Теперь-то и надо похлопотать около вас, — неопределенно ответил мне доктор.

Но я и этот ответ понял в желаемом смысле, то есть, что теперь, когда наступил перелом, когда сила недуга ослабеваает, вероятно, и должно, и

удобнее приложить все средства, чтобы окончательно выдворить болезнь и помочь восстановиться всему, что было поражено ею.

IX

Момню, часов около четырех я почувствовал как бы легкий озноб и, желая согреться, плотно увернулся в одеяло и лег было в постель, но мне вдруг сделалось очень дурно.

Я позвал фельдшера, он подошел, поднял меня с подушки и подал мешок с кислородом. Где-то прозвенел звонок, и через несколько минут в мою палату торопливо вошел старший фельдшер, а затем один за другим — и оба наши врача.

В другое время такое необычайное сборище всего медицинского персонала и быстрота, с какою собрался он, несомненно, удивили и смутили бы меня, но теперь я отнесся к этому совершенно равнодушно, словно оно и не касалось меня.

Странная перемена произошла вдруг в моем настроении! За минуту перед тем жизнерадостный, я теперь, хотя и видел и отлично понимал все, что происходило вокруг меня, но ко всему этому у меня вдруг явилась такая непостижимая безучастность, такая отчужденность, какая, думается, совсем даже и не свойственна живому существу.

Все мое внимание сосредоточилось на мне же самом, но и здесь была удивительно своеобразная особенность, какая-то раздвоенность: я вполне ясно и определенно чувствовал и сознавал себя и в то же время относился к себе же настолько без-

участно, что, казалось, будто даже утерять способность физических ощущений.

Я видел, например, как доктор протягивал руку и брал меня за пульс, я и видел, и понимал, что он делал, но прикосновения его не чувствовал. Я видел и понимал, что доктора, приподняв меня, все что-то делали и хлопотали над моей спиной, с которой, вероятно, начался у меня отек, но что делали они — я ничего не чувствовал, и не потому, чтобы в самом деле лишился способности ощущать, но потому, что меня нисколько не интересовало это, потому, что, уйдя куда-то глубоко внутрь себя, я не прислушивался и не следил за тем, что делали они со мной.

Во мне как бы вдруг обнаружилось два существа: одно — крившееся где-то глубоко и главнейшее, другое — внешнее и, очевидно, менее значительное; и вот теперь, словно связывавший их состав выгорел или расплавился и они распались, и сильнейшее чувствовалось мною ярко, определенно, а слабейшее стало безразличным. Это слабейшее было мое тело.

Могу представить себе, как, быть может, всего несколько дней тому назад был бы поражен я открытием в себе этого неведомого мною дотоле, внутреннего моего существа и сознанием его превосходства над тою, другою моею половиной, которая, по моим понятиям, и составляла всего человека, но которой теперь я почти и не замечал.

Удивительно было это состояние: жить, видеть, слышать, понимать все и в то же время как бы и не видеть, и не понимать ничего, такую чувствовать ко всему отчужденность.

Х

Рот доктор задал мне вопрос; я слышу и понимаю, что он спрашивает, но ответа не даю, не даю потому, что мне незачем говорить с ним. А ведь он хлопочет и беспокоится обо мне же, но о той половине моего я, которая утратила теперь всякое значение для меня, до которой мне нет никакого дела.

Но вдруг она заявила о себе, и как резко и необычайно заявила!

Я вдруг почувствовал, что меня с неудержимой силой потянуло куда-то вниз. В первые минуты это ощущение было похоже на то, как бы ко всем членам моим подвесили тяжелые многопудовые гири, но вскоре такое сравнение не могло уже выразить моего ощущения; представление такой тяги оказывалось уже ничтожным.

Нет, тут действовал какой-то ужасающей силы закон притяжения.

Мне казалось, что не только всего меня, но каждый мой член, каждый волосок, тончайшую жилку, каждую клеточку моего тела в отдельности тянет куда-то с такою же неотразимостью, как сильно действующий магнит притягивает к себе куски металла.

И однако, как ни сильно было это ощущение, оно не препятствовало мне думать и сознавать все; я сознавал и странность самого этого явления, помнил и сознавал действительность, то есть что я лежу на койке, что палата моя во втором этаже, что подо мною такая же комната; но в то же время, по силе ощущения, я был уверен, что, будь подо мною не одна, а десять нагроможденных одна на

другую комнат, все это мгновенно расступится предо мною, чтобы пропустить меня... куда?

Куда-то дальше, глубже, в землю.

Да, именно в землю, и мне захотелось лечь хоть на пол, и я сделал усилие и заметался.

XI

— Агония, — услышал я произнесенное надо мною доктором слово.

Так как я не говорил и взгляд мой, как сосредоточенного в самом себе человека, должно быть, выражал полную к окружающему безучастность, то доктора, вероятно, порешили, что я нахожусь в бессознательном состоянии, и говорили обо мне надо мною, уже не стесняясь. А между тем я не только отлично понимал все, но не мог не мыслить и в известной сфере не наблюдать.

«Агония! Смерть! — подумал я, услыхав слова доктора. — Да неужели же я умираю? — обращаясь к самому себе, громко проговорил я. — Но как? Почему?» Объяснить этого не могу.

Мне вдруг вспомнилось когда-то давно прочитанное мною рассуждение ученых о том, болезненна ли смерть, и, закрыв глаза, я прислушался к себе, к тому, что происходило во мне.

Нет, физических болей я не чувствовал никаких, но я, несомненно, страдал, мне было тяжело, томно. Отчего же это? Я знал, от какой болезни я умираю; что же, душил ли меня отек или он стеснил деятельность сердца, и оно томило меня? Не знаю, быть может, таково было определение наступавшей

смерти по понятиям тех людей, того мира, который был теперь так чужд и далек для меня, я же чувствовал только то непреодолимое стремление куда-то, тяготение к чему-то, о котором говорил выше.

И я чувствовал, что тяготение это с каждым мгновением усиливается, что я уж вот-вот совсем близко подхожу, почти касаюсь того влекущего меня магнита, прикоснувшись к которому я всем моим естеством припаяюсь, срастусь с ним так, что уж никакая сила не в состоянии будет отделить меня от него. И чем сильнее чувствовал я близость этого момента, тем страшнее и тяжелее становилось мне, потому что вместе с этим ярче обнаруживался во мне протест, яснее чувствовал, что весь я не могу слиться, что что-то должно отделиться во мне, и это что-то рвалось от неведомого мне предмета притяжения с такою же силой, с какой что-то другое во мне стремилось к нему. Эта борьба и причиняла мне истому, страдания.

XII

Значение услышанного мною слова «агония» было вполне понятно для меня, но все во мне как-то перевернулось теперь, от моих отношений, чувств и до понятий включительно.

Несомненно, если бы я услышал это слово хотя тогда, когда трое докторов выслушивали меня, я был бы невыразимо испуган им. Несомненно также, что, не случись со мною такого странного переворота, оставайся я в обычном состоянии больного человека, я и в данную минуту, зная, что на-

ступает смерть, понимал бы и объяснял бы все происходящее со мною иначе; но теперь слова доктора только удивили меня, не вызвав того страха, какой вообще присущ людям при мысли о смерти, и дал совсем неожиданное в сопоставлении с моими прежними понятиями толкование тому состоянию, какое испытывал я.

«Так вот что! Это она, земля, так тянет меня, — вдруг ясно выплыло в моей голове. — То есть не меня, а то свое, что на время дала мне. И она ли тянет или оно стремится к ней?..»

И то, что прежде казалось мне столь естественным и достоверным, то есть что весь я по смерти рассыплюсь в прах, теперь явилось для меня противоестественным и невозможным.

«Нет, весь я не уйду, не могу», — чуть ли не громко крикнул я и сделал усилие освободиться, вырваться от той силы, что влекла меня, и вдруг почувствовал, что мне стало легко.

Я открыл глаза, и в моей памяти с совершенною ясностью до малейших подробностей запечатлелось все, что увидал я в ту минуту.

Я увидел, что стою один посреди комнаты; вправо от меня, обступив что-то полукругом, столпился весь медицинский персонал: заложив руки за спину и пристально глядя на что-то, чего мне за их фигурами не было видно, стоял старший врач; подле него, слегка наклонившись вперед, младший старик фельдшер, держа в руках мешок с кислородом, нерешительно переминался с ноги на ногу, по-видимому, не зная, что делать ему теперь со своею ношей, отнести ли ее, или она мо-

жет еще понадобится; а молодой, нагнувшись, поддерживал что-то, но мне из-за его плеча виден был только угол подушки.

Меня удивила эта группа; на том месте, где стояла она, была койка, что же теперь привлекало там внимание этих людей, на что смотрели они, когда меня уж там не было, когда я стоял посреди комнаты?

Я подвинулся и взглянул туда, куда глядели все они: *там на койке лежал я.*

ХШ

Не помню, чтоб я испытал что-нибудь похожее на страх при виде своего двойника; меня охватило только недоумение: как же это? Я чувствую себя здесь, а между тем и там тоже — я.

Я оглянулся на себя, стоящего посреди комнаты. Да, это, несомненно, был я, точно такой же, каким я знал себя.

Я захотел осязать себя, взять правую руку за левую; моя рука прошла насквозь. Попробовал охватить себя за талию — рука снова прошла через мой корпус, как по пустому пространству.

Пораженный таким странным явлением, я хотел, чтобы мне со стороны помогли разобраться в нем, и, сделав несколько шагов, протянул руку, желая дотронуться до плеча доктора, но почувствовал, что и иду я как-то странно, не ощущая прикосновения к полу, и рука моя, как ни стараюсь я, все никак не может достигнуть фигуры доктора, всего, может быть, какой-ни-

будь вершок-два остается пространства, а дотронуться до него не могу.

Я сделал усилие стать твердо на пол, но, хотя корпус мой повиновался моим усилиям и опускался вниз, а достигнуть пола, так же, как фигуры доктора, мне оказалось невозможным. Тут тоже оставалось ничтожное пространство, но преодолеть его я никак не мог.

И мне живо вспомнилось, как несколько дней тому назад сиделка нашей палаты, желая предохранить мою микстуру от порчи, опустила пузырек с нею в кувшин с холодной водой, но воды в кувшине было много, и она сейчас же вынесла легкий пузырек наверх; а старушка, не понимая, в чем дело, настойчиво и раз, и другой, и третий опускала его на дно и даже придерживала его пальцем в надежде, что он устоит, но едва принимала палец, как он снова выворачивался на поверхность.

Так, очевидно, и для меня, *теперешнего* меня, окружавший воздух был уж слишком плотен.

XIV

Что же сделалось со мной? Я позвал доктора, но атмосфера, в которой я находился, оказывалась совсем непригодною для меня: она не восприняла и не передала звуков моего голоса, и я понял свою полную разобщенность со всем окружающим, свое странное одиночество, и панический страх охватил меня. Было действительно что-то невыразимо ужасное в этом необы-

чайном одиночестве. Заблудился ли человек в лесу, тонет ли он в пучине морской, горит ли в огне, сидит ли в одиночном заключении, он никогда не теряет надежды, что его услышат; он знает, что его поймут, лишь бы донесся куда-нибудь его зов, его крик о помощи; он понимает, что его одиночество продолжится только до той минуты, пока он не увидит живое существо, что войдет сторож в его каземат и он может сейчас же заговорить с ним, высказать ему, что желает, и тот поймет его.

Но видеть вокруг себя людей, слышать и понимать их речь и в то же время знать, что ты, что бы ни случилось с тобой, не имеешь никакой возможности заявить им о себе, ждать от них в случае нужды помощи, — от такого одиночества волосы на голове становились щетиной, ум цепенел. Оно было хуже пребывания на необитаемом острове, потому что там хоть природа воспринимала бы проявление вашей личности, а здесь в одном этом лишении возможности сообщаться с окружающим миром, как явлению, неестественном для человека, было столько мертвящего страха, такое страшное сознание беспомощности, какого нельзя испытать ни в каком другом положении и передать словами.

Я, конечно, сдался не сразу; я всячески пробо-вал и старался заявить о себе, но попытки эти приводили меня лишь в полное отчаяние. «Неужели же они не видят меня?» — с отчаянием думал я и снова и снова приближался к стоявшей над моею койкой группе лиц, но никто из них не оглядывался, не обращал на меня внимания, и я с недоумением осматривал себя, не понимая, как

могут они не видеть меня, когда я такой же, как был. Но делал попытку осязать себя — и рука моя снова рассекала лишь воздух.

«Но ведь я же не призрак, я чувствую и сознаю себя, и тело мое есть действительно тело, а не какой-нибудь обманчивый мираж», — думал я и снова пристально осматривал себя и убеждался, что тело мое, несомненно, было тело, ибо я мог всячески рассматривать его и совершенно ясно видеть малейшую черточку, точку на нем. Внешний вид его оставался таким же, как был и прежде, но изменилось, очевидно, свойство его; оно стало недоступно для осязания, и окружающий воздух стал настолько плотен для него, что не допускал его полного соприкосновения с предметами.

«Астральное тело. Кажется, это так называется? — мелькнуло в моей голове. — Но почему же, что случилось со мной?» — задавал я себе вопросы, стараясь припомнить, не слышал ли я когда-нибудь рассказов о таких состояниях, странных трансформациях в болезнях...

XV

— Нет, ничего тут не поделаешь! Все конечно! — безнадежно махнув рукой, проговорил в это время младший доктор и отошел от койки, на которой лежал другой я.

Мне стало невыразимо досадно, что они все толкуют и хлопочут над тем моим я, которого я совершенно не чувствовал, которое совсем не существовало теперь для меня, и оставляют без вни-

мания другого, настоящего меня, который все знает и, мучаясь страхом неизвестности, ищет, требует их помощи.

«Неужели они не хватятся меня, неужели не понимают, что там меня нет?» — с досадой думал я и, подойдя к койке, взглянул на того себя, который в ущерб моему настоящему я привлекал внимание находившихся в палате людей.

Я взглянул, и тут только впервые у меня явилась мысль: да не случилось ли со мною того, что на нашем языке, на языке живых людей определяется словом «смерть»?

Это пришло мне в голову потому, что мое лежавшее на койке тело имело совершенно вид мертвеца: без движения, бездыханное с покрытым какою-то особенною бледностью лицом, с плотно сжатыми, слегка посинелыми губами, оно живо напомнило мне всех виденных мною покойников. Сразу может показаться странным, что только при виде своего бездыханного тела я сообразил, что именно случилось со мною, но, вникнув и проследив, что чувствовал и испытывал я, такое странное по первому взгляду недоумение мое станет понятным.

В наших понятиях со словом «смерть» неразлучно связано представление о каком-то уничтожении, прекращении жизни. Как же мог я думать, что умер, когда я ни на одну минуту не терял самосознания, когда я чувствовал себя таким же живым, все слышащим, видящим, сознающим, способным двигаться, думать, говорить? О каком уничтожении могла быть тут речь, когда я и отлично видел себя, и в то же время даже сознавал и

странности своего состояния? Даже слова доктора, что «все кончено», не остановили на себе моего внимания и не вызвали догадки о случившемся — настолько разнилось то, что произошло со мною, с нашими представлениями о смерти!

Разобщение со всем окружающим, раздвоение моей личности скорее всего могло бы дать понять мне случившееся, если бы я верил в существование души, был человеком религиозным; но этого не было, и я руководился лишь тем, что чувствовал, а ощущение жизни было настолько ясно, что я только недоумевал над странными явлениями, будучи совершенно не в состоянии связывать моих ощущений с традиционными понятиями о смерти, то есть, чувствуя и сознавая себя, думать, что я не существую.

Впоследствии мне неоднократно приходилось слышать от людей религиозных, то есть не отрицавших существования души и загробной жизни, такое мнение или предположение, что душа человека, едва только сбросит он с себя брентную плоть, сейчас же становится каким-то всеведущим существом, что для него ничего нет непонятного и удивительного в новых сферах, в новой форме ее бытия, что она не только мгновенно входит в новые законы открывшегося ей нового мира и своего измененного существования, но что все это так сродни ей, что этот переход есть для нее как бы возвращение в настоящее отечество, возвращение к естественному ее состоянию. Такое предположение основывалось главным образом на том, что душа есть дух, а для духа не может существовать тех ограничений, какие существуют для плотского человека.

XVI

Предположение такое, конечно, совершенно неверно.

Из вышеописанного читатель видит, что я явился в этот новый мир таким же, каким ушел из старого, то есть почти с теми же способностями, понятиями и познаниями, какие имел, живя на земле.

Так, желая как-нибудь заявить о себе, я прибегал к таким же приемам, какие обыкновенно употребляются для этого всеми живыми людьми, то есть я звал, подходил, старался дотронуться, толкнуть кого-нибудь; заметив новое свойство своего тела, я находил это странным, следовательно, понятия у меня оставались прежние: иначе это не было бы для меня странным, и, желая убедиться в существовании моего тела, я опять-таки прибегал к обычному мне, как человеку, для этого способу.

Даже поняв, что я умер, я не постиг какими-нибудь новыми способами происшедшей во мне перемены и, недоумевая, то называл мое тело «атральным», то у меня проносилась мысль, что не таким ли телом был создан первый человек и что полученные им после падения кожаные ризы, о которых упоминается в Библии, не есть ли то брэнное тело, которое лежит на койке и через несколько времени превратится в прах, — одним словом, желая понять случившееся, я подводил такие ему объяснения, какие ведомы и доступны были мне по моим земным познаниям.

И это естественно. Душа, понятно, есть дух, но дух, созданный для жизни с телом: поэтому, каким же образом тело может явиться для нее чем-то вроде тюрьмы, какими-то узами, прико-

вывающими ее к несродному будто бы ей существованию?

Нет, тело есть законное, предоставленное ей жилище, и поэтому она явится в новый мир в той степени своего развития и зрелости, каких достигла в совместной жизни с телом, в положенной ей нормальной форме ее бытия. Конечно, если человек был при жизни духовно развит, настроен, его душе многое будет более сродни и оттого понятнее в этом новом мире, чем душе того, кто жил, никогда не думая о нем, и тогда как первая в состоянии будет, так сказать, сразу читать там, хотя и не бегло и с запинками, второй, подобной моей, нужно начинать с азбуки, нужно время, чтобы уразуметь и тот факт, о котором она никогда не помышляла, и ту страну, в какую она попала и в которой никогда и мысленно не бывала.

Вспоминая и продумывая впоследствии свое тогдашнее состояние, я заметил только, что мои умственные способности действовали и тогда с такою удивительною энергией и быстротой, что, казалось, не оставалось ни малейшей черты времени для того, чтобы с моей стороны сделать усилие сообразить, сопоставить, вспомнить что-нибудь; едва что-либо являлось предо мною, как память моя, мгновенно пронизывая прошлое, выкапывала все завалявшиеся там и заглохшие крохи знаний по данному предмету, и то, что в другое время, несомненно, вызвало бы мое недоумение, теперь представлялось мне как бы известным. Иногда я даже каким-то наитием предугадывал и неведомое мне, но все-таки не раньше, чем оно представлялось

моим глазам. В этом только и заключалась особенность моих способностей, кроме тех, которые являлись следствием моего измененного естества.

XVII

Перехожу к повествованию о дальнейших обстоятельствах моего невероятного происшествия.

Невероятно! Но если оно до сих пор казалось невероятным, то эти дальнейшие обстоятельства явятся в глазах моих образованных читателей такими наивными небылицами, что о них и повествовать бы не стоило; но, быть может, для тех, кто пожелает взглянуть на мой рассказ иначе, сама наивность и скудость послужат удостоверением его истинности, ибо если бы я сочинял, выдумывал, то здесь для моей фантазии открывается широкое поле, и, конечно, я бы выдумал что-нибудь помудренее, поэффектнее.

Итак, что же дальше было со мной? Доктора вышли из палаты, оба фельдшера стояли и толковали о перипетиях моей болезни и смерти, а старушка няня (сиделка), повернувшись к иконе, прекрестилась и громко высказала обычное в таких случаях пожелание мне...

— Ну, Царство ему Небесное, вечный покой.

И едва произнесла она эти слова, как подле меня явились два ангела; в одном из них я почему-то узнал моего Ангела-хранителя, а другой был мне неизвестен.

Взяв меня под руки, ангелы вынесли меня прямо через стену из палаты на улицу.

XVIII

Смеркалось уже, шел небольшой, тихий снежок. Я видел это, но холода и вообще перемены между комнатною температурой и надвornoю не ощутил. Очевидно, подобные вещи утратили для моего измененного тела свое значение. Мы стали быстро подниматься вверх. И по мере того, как поднимались мы, взору моему открывалось все большее и большее пространство, и наконец оно приняло такие ужасающие размеры, что меня охватил страх от сознания моего ничтожества перед этою безконечной пустыней. В этом, конечно, сказывались некоторые особенности моего зрения: во-первых, было темно, а я видел все ясно, следовательно, зрение мое получило способность видеть в темноте; во-вторых, я охватывал взором такое пространство, какого, несомненно, не мог охватить моим обыкновенным зрением, но этих особенностей я, кажется, не сознавал тогда, а что я вижу не все и что для моего зрения, как ни широк его кругозор, все-таки существует предел, — это я отлично понимал и ужасался. Да, насколько, стало быть, свойственно человеку ценить во что-то свою личность: я сознавал себя таким ничтожным, ничего не значащим атомом, появление или исчезновение которого, понятно, должно было оставаться совсем незамеченным в этом безпредельном пространстве, но вместо того, чтобы находить для себя в этом некоторое успокоение, своего рода безопасность, я страшился... что затеряюсь, что эта необъятность поглотит меня, как жалкую пылинку. Удивительный отпор ничтожной точки всеобщему (как мнят некото-

ры) закону разрушения и знаменательное проявление сознания человеком его бессмертия, его вечного личного бытия!

XIX

Идея времени погасла в моем уме, и я не знаю, сколько мы еще поднимались вверх, как вдруг послышался сначала какой-то неясный шум, а затем, выплыв откуда-то, к нам с криком и гогом стала быстро приближаться толпа каких-то безобразных существ.

«Бесы!» — с необычайной быстротой сообразил я и оцепенел от какого-то особенного, неведомого мне дотоле ужаса.

Бесы! О, сколько иронии, сколько самого искреннего смеха вызвало бы во мне всего несколько дней, даже часов тому назад чье-нибудь сообщение не только о том, что он видел своими глазами бесов, но что он допускает существование их как тварей известного рода! Как и подобало образованному человеку конца девятнадцатого века, я под этим названием разумел дурные склонности, страсти в человеке, почему и самое слово это имело у меня значение не имени, а термина, определявшего известное отвлеченное понятие. И вдруг это «известное отвлеченное понятие» предстало мне живым олицетворением!

Не могу и до сих пор сказать, как и почему я тогда без малейшего недоумения признал в этом безобразном видении бесов. Несомненно лишь, что такое определение совсем выходило из порядка вещей

и логики, ибо, предстань мне подобное зрелище в другое время, я, несомненно, сказал бы, что это какая-то небылица в лицах, уродливый каприз фантазии — одним словом, все что угодно, но уж, конечно, никак не назвал бы его тем именем, под которым понимал нечто такое, чего и видеть нельзя. Но тогда это определение вылилось с такою быстротой, как будто тут и думать было незачем, как будто я увидел что-то давно и хорошо мне известное, и так как мои умственные способности работали в то время, как говорил я, с какою-то непостижимою энергией, то я почти так же быстро сообразил, что безобразный вид этих тварей не был их настоящею внешностью, что это был какой-то мерзкий маскарад, придуманный, вероятно, с целью больше утрашить меня, и на мгновение что-то, похожее на гордость, шевельнулось во мне. Мне стало стыдно за себя, за человека вообще, что для того, чтобы испугать его, столь много мнящего о себе, другие твари прибегают к таким приемам, какие нами практикуются лишь по отношению к малым детям.

Окружив нас со всех сторон, бесы с криком и гамом требовали, чтобы меня отдали им, они старались как-нибудь схватить меня и вырвать из рук ангелов, но, очевидно, не смели этого сделать. Среди их невообразимого и столь же отвратительного для слуха, как сами они были для зрения, воя и гама я улавливал иногда слова и целые фразы.

— Он наш, он от Бога отрекся, — вдруг чуть не в один голос завопили они и при этом уж с такою наглостью кинулись на нас, что от страха у меня на мгновение застыла всякая мысль.

«Это ложь! Это неправда!» — опомнившись, хотел крикнуть я, но услужливая память связала мне язык. Каким-то непонятным образом мне вдруг вспомнилось такое маленькое, ничтожное событие, и к тому же относившееся еще к давно минувшей эпохе моей юности, о котором, кажется, я и вспомнить никак не мог.

XX

Мне вспомнилось, как еще во времена моего ученья, собравшись однажды у товарища, мы, потолковав о своих школьных делах, перешли затем на разговор о разных отвлеченных и высоких предметах, разговоры, какие велись нами зачастую.

— Я вообще не люблю отвлеченностей, — говорил один из моих товарищей, — а здесь уж совершенная невозможность. Я могу верить в какую-нибудь, пусть еще и не исследованную наукой, силу природы, то есть я могу допустить ее существование и не видя ее явных, определенных проявлений, потому что она может быть очень ничтожной или сливающейся в своих действиях с другими силами и оттого ее трудно и уловить, но веровать в Бога, как в Существо личное и всемогущее, верить, когда я не вижу нигде ясных проявлений этой Личности, это уж абсурд. Мне говорят: веруй. Но почему должен я веровать, когда я одинаково могу верить и тому, что Бога нет. Ведь правда же? И, может быть, Его и нет? — уже в упор ко мне отнесся товарищ.

— Может быть, и нет, — проговорил я.

Фраза эта была в полном смысле слова «празд-

ним глаголом»: во мне не могла вызвать сомнений в бытии Бога безголковая речь приятеля, я даже не особенно следил за разговором, и вот теперь оказывалось, что этот праздный глагол не пропал бесследно в воздухе, мне надлежало оправдываться, защищаться от возводимого на меня обвинения, и таким образом удостоверилось евангельское сказание, что, если и не по воле вѣдущего тайная сердца человеческого Бога, то по злобе врага нашего спасения нам действительно предстоит дать ответ и во всяком праздном слове.

Обвинение это, по-видимому, являлось самым сильным аргументом моей гибели для бесов, они как бы почерпнули в нем новую силу для смелости своих нападений на меня и уж с неистовым ревом завертелись вокруг нас, преграждая нам дальнейший путь.

Я вспомнил о молитве и стал молиться, призывая на помощь тех святых, которых знал и чьи имена пришли мне на ум.

Но это не устрашало моих врагов.

Жалкий невежда, христианин лишь по имени, я чуть ли не впервые вспомнил о Той, Которая именуется Заступницей рода христианского.

Но, вероятно, горяч был мой порыв к Ней, вероятно, так преисполнена была ужаса душа моя, что едва я, вспомнив, произнес Ее имя, как вокруг нас вдруг появился какой-то белый туман, который и стал быстро заволакивать безобразное сонмище бесов, скрывая его от моих глаз, прежде чем оно успело отделиться от нас. Рев и гогот их слышался еще долго, но по тому, как он посте-

пенно ослабевал и становился глуше, я мог понять, что страшная погоня отставала от нас.

XXI

Испытанное мною чувство страха так захватило меня всего, что я не сознавал даже, продолжили ли мы и во время этой ужасной встречи наш полет или она остановила нас на время; я понял, что мы движемся, что мы продолжаем подыматься вверх, лишь когда предо мною снова разостлалось безконечное воздушное пространство.

Пройдя некоторое его расстояние, я увидел над собою яркий свет: он походил, как казалось мне, на наш солнечный, но был гораздо сильнее его. Там, вероятно, какое-то Царство света.

«Да, именно Царство, полное владычество света», — предугадывая каким-то особым чувством еще не виденное мною, думал я, потому что при этом свете нет теней. «Но как может быть свет без тени?» — сейчас же выступили с недоумением мои земные понятия.

И вдруг мы быстро внеслись в сферу этого света, и он буквально ослепил меня. Я закрыл глаза, поднес руки к лицу, но это не помогло, так как руки мои не давали тени. Да и что значила здесь подобная защита?!

«Боже мой, да что же это такое, что это за свет такой? Для меня ведь — та же тьма. Я не могу смотреть и, как во тьме, не вижу ничего», — взмолился я, сопоставляя мое земное зрение и забыв или, может быть, даже и не сознавая, что

теперь такое сравнение не годилось, что теперь я мог видеть и во тьме.

Эта невозможность видеть, смотреть увеличивала для меня страх неизвестности, естественный при нахождении в неведомом мне мире, и я с тревогой размышлял: «Что же будет дальше? Скоро ли ми-нем мы эту сферу света и есть ли ей предел, конец?»

Но случилось иное. Величественно, без гнева, но властно и непоколебимо сверху раздались слова:

— Не готов!

И затем... затем мгновенная остановка в нашем стремительном полете вверх — и мы быстро стали опускаться вниз.

Но прежде чем покинули мы эти сферы, мне дано было узнать одно дивное явление. Едва сверху раздались означенные слова, как все в этом мире, казалось, каждая пылинка, каждый самонаименьший атом отозвались на них своим изволением. Словно многомиллионное эхо повторило их на неуловимом для слуха, но осязательном и понятном для сердца и ума языке, выражая свое полное согласие с последовавшим определением. И в этом единстве воли была такая дивная гармония, и в этой гармонии столько невыразимой, восторженной радости, пред которой жалким безсолнечным днем являлись все наши земные очарования и восторги. Неподражаемым музыкальным аккордом прозвучало это многомиллионное эхо, и душа вся говорила, вся беззаветно отозвалась на него пламенным порывом слиться с этой общею дивною гармонией.

XXII

Я не понял настоящего смысла относившихся ко мне слов, то есть не понял, что я должен вернуться на землю и снова жить так же, как раньше жил; я думал, что меня несут в какие-либо иные страны, и чувство робкого протеста зашевелилось во мне, когда предо мною сначала смутно, как в утреннем тумане, обозначились очертания города, а затем и ясно показались знакомые улицы.

Вот и памятное мне здание больницы. Так же, как прежде, через стены здания и закрытые двери был внесен я в какую-то совершенно не известную мне комнату; в комнате этой стояло в ряд несколько окрашенных темною краской столов, и на одном из них, покрытом чем-то белым, я увидел лежащего себя, или, вернее, мое мертвое окоченевшее тело.

Неподалеку от моего стола какой-то седенький старичок в коричневом пиджаке, вода согнутою восковою свечкой по строкам крупного шрифта, читал Псалтирь, а по другую сторону на стоявшей вдоль стены черной лавке сидела, очевидно, уже извещенная о моей смерти и успевшая приехать моя сестра и подле нее, нагнувшись и что-то тихо говоря ей, — ее муж.

— Ты слышал Божие определение? — подведя меня к столу, обратился ко мне безмолвствовавший доселе мой Ангел-хранитель и, указав затем рукою на мое мертвое тело, сказал: — Войди и готовься.

И за сим оба ангела стали невидимы для меня.

XXIII

Совершенно ясно помню, что и как произошло после этих слов со мною. Сначала я почувствовал, что меня как бы стеснило что-то, затем явилось ощущение неприятного холода, и возвращение этой утраченной мною способности чувствовать такие вещи живо воскресило во мне представление прежней жизни, и чувство глубокой грусти как бы о чем-то утраченном охватило меня. (Замечу здесь к слову, что чувство это осталось после описываемого мною события навсегда при мне).

Желание вернуться к прежней жизни, хотя до этой поры в ней не было ничего особенно скорбного, ни на минуту не шевельнулось во мне: меня нисколько не тянуло, ничто не влекло к ней.

Приходилось ли вам, читатель, видеть пролежавшую некоторое время в сыром месте фотографию? Рисунок на ней сохранился, но от сырости он выцвел, облинял, и вместо определенного и красивого изображения получилась какая-то сплошная бледно-рыжеватая муть. Так обезцветилась для меня жизнь, превратясь тоже в какую-то сплошную водянистую картинку, и таковою остается она в моих глазах и поныне.

Как и почему почувствовал я это сразу — не знаю, но только она ничем не влекла меня; испытанный мною раньше ужас от сознания моего разобщения с окружающим миром теперь почему-то утратил для меня свое страшное значение; я видел, например, сестру и понимал, что не могу общаться с ней, но это нисколько не тяготило меня; я довольствовался тем, что сам вижу ее и знаю все о ней; во мне даже не явилось, как прежде, жела-

ние заявить как-нибудь о своем присутствии. Впрочем, и не до того было. Чувство стеснения заставляло меня все больше и больше страдать. Мне казалось, что меня словно жмут какими-то тисками, и ощущение это все усиливалось; я со своей стороны не оставался пассивным, делал что-то: боролся ли, стараясь освободиться от него, или делал усилия, не освобождаясь, как-нибудь сладить, одолеть его — определить не могу, помню только, что мне становилось все тесней и тесней, и наконец я потерял сознание.

XXIV

Очнулся я уже лежащим в больничной палате на койке.

Открыв глаза, я увидел себя окруженным чуть не целую толпою любопытствовавших или, выражаясь иначе, с напряженным вниманием наблюдавших меня лиц.

У самого моего изголовья на придвинутом табурете, стараясь сохранить свое обычное величие, сидел старший врач; его поза и манеры, казалось, говорили, что все это, мол, вещь обыкновенная и ничего тут нет удивительного, а между тем в его устремленных на меня глазах так и сверкало напряженное внимание и недоумение.

Младший доктор — тот уж безо всякого стеснения буквально впился в меня глазами, словно стараясь просмотреть меня всего насквозь.

У ног моей койки, одетая в траурное платье, с бледным взволнованным лицом, стояла сестра

моя, подле нее — зять, из-за плеча сестры выглядывало более других спокойное лицо больничной сиделки, а еще дальше за нею виднелась уж совсем перепуганная физиономия нашего молодого фельдшера.

Придя окончательно в себя, я прежде всего приветствовал сестру; она быстро подошла ко мне, обняла меня и заплакала.

— Ну, батенька, и задали же вы нам жару! — со свойственным молодости нетерпением поделиться поскорее пережитыми необычайными впечатлениями и наблюдениями проговорил младший доктор. — Кабы вы знали, что с вами творилось!

— Да я отлично помню все, что происходило со мной, — проговорил я.

— Как? Неужели вы не теряли сознания?

— Стало быть, нет.

— Это очень, даже очень странно, — проговорил он, взглянув на старшего доктора. — Странно потому, что вы лежали настоящею-таки кочерыжкой, без малейших признаков жизни, нигде ничего, ни-ни! Как же можно в таком состоянии сохранять сознание?

— Вероятно же, можно, если я и видел, и признавал все.

— То есть видеть-то вы ничего не могли, а слышать, чувствовать... И неужели вы все-все слышали и понимали? Слышали, как вас обмывали, одевали...

— Нет, этого я ничего не чувствовал. Вообще тело мое было для меня совсем нечувствительно.

— Как же так? Говорите, что помните все, что было с вами, а ничего не чувствовали?

— Я говорю, что не чувствовал только того, что делалось с моим телом, находясь под ярким впечатлением пережитого, — проговорил я, думая, что такого пояснения вполне достаточно, чтобы понять высказанное мною.

— Ну-те? — видя, что я остановился на этом, проговорил доктор.

А я даже и запнулся на минуту, не зная, что же еще ему нужно от меня. Мне казалось, что все было тут так понятно, и я снова лишь повторил:

— Я сказал вам, что не чувствовал только своего тела, следовательно, всего, что касалось его, но ведь тело мое — не весь же я? Ведь не весь же я лежал кочерыжкой? Ведь прочее-то все жило и продолжало действовать во мне! — проговорил я, думая, что то раздвоение или, вернее, раздельность в моей личности, которая была теперь яснее Божьего дня для меня, была так же известна и тем людям, к которым я обращал мою речь.

Очевидно, я еще не вернулся вполне в прежнюю жизнь, не перенесся на точку ее понятий и, говоря о том, что знал теперь и перечувствовал, сам не понимал, что слова мои могут казаться чуть не бредом сумасшедшего для не испытывавших ничего подобного и отрицавших все подобное людей.

XXV

Младший доктор хотел еще что-то возразить или спросить меня, но старший сделал ему знак, чтоб он оставил меня в покое, не знаю уж, потому ли что этот покой был действительно ну-

жен мне или потому, что из моих слов он вывел заключение, что голова моя еще не в порядке и поэтому нечего толковать со мной.

Убедившись, что механизм мой пришел в более или менее надлежащий вид, меня ослушали: отека в легких не оказалось; затем, дав мне выпить, кажется, чашку бульона, все удалились из палаты, позволив лишь сестре побыть со мною еще некоторое время.

Думая, вероятно, что напоминания о случившемся могут волновать меня, вызывая всякие страшные предположения и гадания, вроде возможности быть погребенным заживо и т.п., все окружавшие и навещавшие меня избегали заводить со мною об этом разговоры; исключение составлял только младший доктор.

Его, по-видимому, крайне заинтересовал бывший со мною случай, и он по нескольку раз на день прибегал ко мне, то просто лишь взглянуть, что и как, то задать один-другой надуманный вопрос; иногда он приходил один, а иногда приводил даже с собою какого-нибудь товарища, по большей части студента, посмотреть на побывавшего в мертвецкой человека.

На третий или на четвертый день, найдя меня, вероятно, достаточно окрепшим или, может быть, просто потеряв терпение выжидать дольше, он, придя вечером в мою палату, пустился уже в более продолжительный разговор со мной.

Подержав меня за пульс, он сказал:

— Удивительно: все дни пульс у вас совершенно ровный, безо всяких вспышек, отклонений, а если бы вы знали, что с вами творилось! Чудеса, да и только!

Я уж освоился теперь, вошел в колею прежней жизни и понимал всю необычайность случившегося со мной, понимал, что знаю о нем только я и что те чудеса, о которых говорит доктор, есть какие-нибудь внешние проявления пережитого мною происшествия, какие-нибудь диковины с медицинской точки зрения, и спросил:

— Это когда же чудеса со мной творились? Перед тем, как я вернулся к жизни?

— Да, перед тем, как вы очнулись. Я уж не говорю о себе, я человек малоопытный, а случая летаргии до сих пор и совсем не видал, но кому я ни рассказывал из старых врачей, все удивлены, понимаете, до того, что отказываются верить моим словам.

— Да что ж, собственно, было со мною столь диковинного?

— Я думаю, вы знаете — впрочем, тут и знать не надо, оно и так, само собою понятно, — что, когда у человека проходит даже просто обморочное состояние, все органы его работают сначала крайне слабо: пульс едва уловить можно, дыхание совсем не приметно, сердца не сыщешь. А у вас произошло что-то невообразимое: легкие сразу запыхтели, как какие-то меха исполинские, сердце застучало, что молот о наковальню. Нет, этого даже передать нельзя; это надо было видеть. Понимаете, это был какой-то вулкан перед извержением, мороз бежал по спине, со стороны становилось страшно; казалось, еще мгновение — и кусков не останется от вас, потому что никакой организм не может выдержать такой работы.

«Гм... не диво же, что я перед тем, как очнуться, потерял сознание», — подумал я.

А до рассказа доктора я все недоумевал и не знал, как объяснить то странное, как казалось мне, обстоятельство, что во время умирания, то есть когда все замирало во мне, я ни на минуту не потерял сознания, а когда мне надлежало ожить, я впал в обморочное состояние. Теперь же это стало понятно мне: при смерти я хотя тоже чувствовал стеснение, но в крайний момент оно разрешилось тем, что я сбросил с себя то, что причиняло его, а одна душа, очевидно, не может падать в обмороки; когда же мне следовало вернуться к жизни, я, наоборот, должен был принять на себя то, что подвержено всяким физическим страданиям, до обмороков включительно.

XXVI

Доктор между тем продолжал:
— И вы помните, что это ведь не после какого-нибудь обморока, а после полуторасуточной летаргии! Можете судить о силе этой работы по тому, что вы представляли собой замороженную кочерыжку, а спустя всего какие-нибудь пятнадцать-двадцать минут ваши члены получили уже гибкость, а к часу согрелись даже и конечности. Ведь это невероятно, баснословно! И вот, когда я рассказываю, мне отказываются верить.

— А знаете, доктор, почему это случилось так необычайно? — сказал я.

— Почему?

— Вы, по вашим медицинским понятиям, под определением летаргии понимаете нечто сходное с обмороком?

— Да, только в наивысшей степени...

— Ну, тогда, стало быть, со мною была не летаргия.

— А что же?

— Я, стало быть, действительно умирал и вернулся к жизни. Если бы здесь было только ослабление жизнедеятельности в организме, то тогда бы она, конечно, восстановилась без подобной «буль-версии», а так как телу моему надлежало экстренно приготовиться к принятию души, то и работать все органы должны были тоже экстраординарно.

Доктор с секунду слушал меня внимательно, а затем лицо его приняло равнодушное выражение.

— Да, вы шутите; а для нас, медиков, это крайне интересный случай.

— Могу вас уверить, что я и не думаю шутить. Я сам несомненно верю тому, что говорю, и хотел бы даже, чтоб и вы поверили... ну, хотя бы для того, чтобы серьезно исследовать такое исключительное явление. Вы говорите, что я ничего не мог видеть, а хотите — я вам нарисую всю обстановку мертвецкой, в которой я живым никогда не был, хотите — расскажу, где кто из вас стоял и что делал в момент моей смерти и вслед за тем?

Доктор заинтересовался моими словами и, когда я рассказал и напомнил ему, как все было, он, с видом человека, сбитого с толку, промычал:

— Н-да, странно. Какое-то ясновидение...

— Ну, доктор, это уж совсем что-то не вяжется: состояние замороженного судака — и ясновидение!

Но верх изумления вызвал в нем мой рассказ о том состоянии, в котором находился я в первое время после разъединения моей души с телом, о том, как я видел все, видел, что они хлопочут над моим телом, которое по его безчувствию имело для меня значение сброшенной одежды; как мне хотелось дотронуться, толкнуть кого-нибудь, чтобы привлечь внимание к себе, и как ставший слишком плотным для меня воздух не допускал моего соприкосновения с окружающими меня предметами.

Все это он слушал, чуть не буквально разинув рот и сделав большие глаза, и, едва кончил я, он поспешил проститься со мной и ушел, вероятно, спеша поделиться с другими столь интересным повествованием.

XXVII

Вероятно, он сообщил об этом и старшему врачу, ибо этот последний во время визитации на следующий день, осмотрев меня, задержался около моей койки и сказал:

— У вас, кажется, были галлюцинации во время летаргии. Так вы смотрите, постарайтесь отделаться от этого, а то...

— Могу с ума спятить? — подсказал я.

— Нет, это, пожалуй, уж много, а может перейти в манию.

— А разве бывают при летаргии галлюцинации?

— Что ж вы спрашиваете? Вы знаете это теперь лучше меня.

— Единственный случай, хотя бы и со мною, для меня не доказательство. Мне хотелось бы знать общий вывод медицинских наблюдений по этому обстоятельству.

— А куда же девать случай с вами? Ведь это же факт!

— Да, но если все случаи подводить под одну рубрику... то не закроем ли мы этим двери для исследований разных явлений, различных симптомов болезней и не получится ли через подобный прием нежелательная односторонность в медицинских диагнозах?

— Да тут ничего подобного быть не может. Что с вами была летаргия — это вне всякого сомнения, следовательно, и должно принять то, что было с вами, за возможное в этом состоянии.

— А скажите, доктор, есть ли какая-нибудь почва для появления летаргии в такой болезни, как воспаление легких?

— Медицина не может указать, какая именно нужна для нее почва, потому что она приключается при всяких болезнях, и даже бывали случаи, что человек впадал в летаргический сон без предшества какой-либо болезни, будучи по-видимому совершенно здоров.

— А может пройти сам по себе отек легких во время летаргии, то есть в то время, когда сердце его бездействует и, следовательно, увеличение отека не встречает никаких препятствий для себя?

— Раз это случилось с вами — стало быть, это возможно, хотя, верьте, ваш отек прошел, когда вы уже очнулись.

— В несколько минут?

— Ну, уж не в несколько минут... Впрочем, хотя бы и так. Такая работа сердца и легких, какова была в момент вашего пробуждения, может, пожалуй, и лед на Волге взломать, не то что разогнать какой угодно отек в короткое время.

— А могли стесненные, отекавшие легкие работать так, как они работали у меня?

— Стало быть.

— Следовательно, ничего удивительного, поразительного в приключившемся со мною нет?

— Нет, почему же! Это во всяком случае... редко наблюдаемое явление.

— Редко — или в такой обстановке, при таких обстоятельствах — никогда?

— Хм... как же никогда, когда это было с вами?

— Следовательно, и отек может пройти сам по себе, даже когда все органы у человека бездействуют, и стесненное отеком сердце и отекавшие легкие могут, если им вздумается, работать на славу; казалось бы, от отека легких и умирать нечего! А скажите, доктор, может ли человек очнуться от летаргии, приключившейся во время отека легких, то есть может ли он вывернуться зараз от двух таких... неблагоприятных казусов?

На лице доктора появилась ироническая улыбка.

— Вот видите, я предупреждал вас недаром относительно мании-то, — проговорил он. — Вы все хотите подвести бывший с вами случай под

что-то другое, а не летаргию, и задаете вопросы с целью...

«С целью убедиться, — подумал я, — кто из нас маньяк: я ли, желающий выводами науки проверить основательность сделанного тобою моему состоянию определения, или ты, подводящий, быть может, вопреки даже возможности, все под одно имеющееся в твоей науке наименование?»

Но громко я сказал следующее:

— И задаю вопросы с целью показать вам, что не всякий, увидав порхающий снег, способен, вопреки указаниям календаря и цветущим деревьям, во что бы то ни стало утверждать, что стало быть зима, потому лишь, что по науке снег значится принадлежностью зимы; ибо сам я помню, как однажды выпал снег, когда по календарному счислению значилось двенадцатое мая и деревья в саду моего отца были в цвету.

Этот ответ мой, вероятно, убедил доктора, что он опоздал со своим предупреждением, что я уже впал «в манию», и он ничего не возразил мне, и я тоже не стал больше ни о чем спрашивать его.

XXVIII

Я привел этот разговор для того, чтобы читатель не обвинял меня в непростительном легкомыслии, что я по горячим, так сказать, следам не обследовал научно бывшего со мною необычайного случая, тем более что произошел он при такой благоприятной для сего обстановке. Ведь и в самом деле,

налицо были два лечившие меня врача, два врача-очевидца всего случившегося, и целый штат больничных служащих различных категорий! И вот по приведенному разговору читатель может судить, чем должны были закончиться мои «научные исследования». Что я мог узнать, чего добиться при таком отношении к делу? Мне многое хотелось узнать, хотелось для соображений подробно узнать и понять весь ход моей болезни, хотелось узнать: было ли хотя на йоту вероятности в том, что отек у меня мог всосаться в то время, когда сердце мое бездействовало и кровообращение, по-видимому, окончательно прекратилось, так как я окоченел? Басне, что он прошел у меня в несколько минут, когда я уже очнулся, одинаково мудрено было верить, потому что тогда все равно являлась непонятно такая действительность стесненных отеком сердца и легких.

Но после подобных вышеприведенных попыток я оставил моих врачей в покое и перестал расспрашивать их, потому что все равно и сам не поверил бы правдивости и безпристрастию их ответов.

Пробовал я и впоследствии обследовать научно этот вопрос, но результат получился почти тот же: я встречал такое же апатичное отношение ко всяким самостоятельным обследованиям, такое же рабство мысли, такой же малодушный страх перешагнуть за черту очерченного наукой круга.

А наука... Ах, какое тут постигло разочарование! Когда я спрашивал: возможно ли человеку, впадшему в летаргию при наступившем после воспаления отеке легких очнуться, или наблюдались ли в медицине и возможны ли по закону природы вооб-

ще такие случаи, чтобы во время летаргии больной совершенно выздоравливал от болезни, весь ход которой и финал являлись, по мнению врачей, вполне естественно и правильно наступившей смертью, мне обыкновенно сразу отвечали отрицательно. Но сейчас же при дальнейших моих вопросах уверенный тон переходил в гадательный, появлялись разные «впрочем», «знаете» и т.п. О том, что это было со мною, конечно, нечего было и заикаться. Тут уже сразу без малейшей запинки выплывало всеподданнейшее перед наукой и всеобъемлющее и всеудовлетворяющее ученых: «...раз это было с вами...» и проч. И никакого недоумения, удивления, что указывало на полнейшее отсутствие уверенности и обоснованности того, что говорилось за четверть часа перед тем. Меня, как непосвященного в тонкости этой науки, да еще на беду привыкшего рассуждать, ужасно злило это и я не раз с горячностью спрашивал, ставя вопрос ребром:

— Но скажите, пожалуйста: пусть летаргия — явление редкое, пусть сама она мало наблюдалась, мало исследована, но неужели же в ваших научных законоположениях о жизни организма нельзя найти сколько-нибудь определенного ответа на подобные вопросы?

Но тут приходилось убедиться, что это «научное законоположение для жизни организма» имело под собой столько же незыблемой почвы, как и гипотеза о происхождении каналов на Марсе и бываемых там наводнениях. Да и чего уж было в сущность сущностей забираться, когда даже на мой вопрос, бывают ли (я уж не спрашивал, возможны или не-

возможны, так как тут опять требовались самостоятельное мышление и умозаключение) при летаргии галлюцинации, я не получил прямого ответа.

И пришлось мне самому братья за соби́рание тех сведений, какие я хотел найти готовыми в науке, и соби́рал я их, в особенности в первое время, весьма усердно, во-первых, потому, что мне хотелось уяснить себе самому, что должно понимать под словом «летаргия»: глубокий ли сон, обморок — одним словом, такое состояние, когда жизнь в человеке как бы замирает, но не покидает его совсем, — или такое представление медицины неверно и в сущности со всяким впавшим, по нашим определениям, в летаргию происходит то же, что было и со мной. А во-вторых, я предвидел, конечно, то недоверие (откровенно говоря, совсем бессмысленное и неосновательное, так как научно нельзя ведь доказать невозможности такого явления), какое будет встречать мой рассказ и какое он, несомненно, вызовет и теперь, и, будучи сам горячо убежден в происшедшем со мною, желал найти подтверждение основательности моей убежденности в наблюдениях и возможных исследованиях данного обстоятельства.

XXIX

Итак, какой же результат дали мои исследования, что же именно было со мной? Несомненно, то, что я и писал, то есть, что душа моя покинула на время тело и затем, Божиим определением, вернулась в него. Ответ, могущий, конечно, иметь двоякое к себе отношение: безусловно невозможный для одних и

вполне вероятный для других, в зависимости от внутреннего устройства, от мировоззрения человека. Для того, кто не признает существования души, недопустим даже вопрос о каком-либо правдоподобии такого определения. Какая душа может отделиться, когда ее и нет вовсе? Желательно только, чтобы такие мясники обратили внимание на то, что в человеке может видеть, слышать, одним словом — жить и действовать и тогда, когда его тело лежит окоченным и совершенно безчувственным. А кто верит, что в человеке, помимо физического состава, физических отправлениях есть и еще какая-то сила, совершенно от сих последних не зависящая, для того в подобном факте нет ничего невероятного. А верить этому, думается, и гораздо разумнее, и основательнее, ибо если не эта сила одухотворяет, дает жизнь нашему телу, а сама является лишь продуктом деятельности этого последнего, то тогда уже совершенно нелепостью является смерть. Чего ради должен я верить в логичность таких явлений, как старость, разрушение, когда потребный для питания и обновления моего организма обмен веществ в моем теле не прекращается? Когда я обращался с моим рассказом к духовным лицам разных иерархических степеней, а между ними были и люди очень ученые, все они единогласно отвечали мне, что в бывшем со мною происшествии нет ничего невероятного, что повествования о подобных случаях имеются и в Библии, и в Евангелии, и в житиях святых, и в Своих благих и премудрых целях Господь допускает иногда такие предвосхищения души, дает по мере ее способностей одной созерцать больше, другой — меньше из

того таинственного мира, в который всем нам предстоит неизбежный путь. Прибавлю здесь от себя, что иногда цель таких откровений бывает сразу ясна и понятна, иногда остается сокрытою, и даже настолько, что откровение кажется как бы безпричинным, ничем не вызванным, и иногда лишь через долгий промежуток времени или какими-нибудь кружными путями обозначается его необходимость. Так, в перечитанной мною литературе по этому предмету я напал на случай, где только для правнука подобное обстоятельство явилось грозным и столь властно, неотразимо воздействовавшим на него предостережением, что он, не колеблясь, отказался от самоубийства, от которого дотеле ничто не могло предотвратить его. Очевидно, в род этот необходимо было пролить такое знание, но, кроме прабабки спасенного этим знанием юноши, вероятно, никто не способен был воспринять его, и оттого и лег такой долгий промежуток времени между откровением и его применением. Такова духовная, религиозная сторона этого обстоятельства. Перейдем к другим. Здесь я встретил много такого, что могло лишь подтвердить мою веру, и ничего такого, что бы ее опровергло.

XXX

Прежде всего, из всяких справок и всего перечитанного мною по этому предмету я узнал, что галлюцинаций в летаргии и по существу быть не может, что впавший в летаргический сон обыкновенно или ничего не слышит и не чувствует, или чувст-

вует и слышит лишь то, что в действительности происходит вокруг него, и медицинское наименование такого состояния сном совершенно неправильно. Это скорее какое-то оцепенение, парализация или, как еще подходяще выражается наш простой народ, обмирание, которое в зависимости от степени его силы иногда распространяется на все мельчайшие отправления, на всю тончайшую работу организма, и в таком случае, само собою разумеется, ни о каких сновидениях и галлюцинациях речи быть не может, так как всякая деятельность мозга бывает так же парализована, как и прочих органов. При более же слабой степени оцепенения больной чувствует и сознает все вполне правильно, мозг его находится в совершенно трезвом состоянии, как у бодрствующего и совершенно трезвого человека, и, следовательно, этому страшному недугу совсем не свойственно, даже и в малой мере, наподобие хотя бы сна или легкого забытья, омрачать сознание.

Далее, несомненно веским, хотя, быть может, и не для людей «положительных» наук, но для людей просто со здравым смыслом и трезвым отношением к вещам, доказательством того, что бывающие в подобных приключившихся со мною обстоятельствах видения не суть бред, галлюцинация, а действительно ими пережитое, служит их сила и реальность. Думаю, каждый из нас знаком с какими-нибудь яркими сновидениями, бредом, кошмаром и тому подобными явлениями и каждый по себе может проверить, насколько продолжительны обыкновенно остаются оставляемые ими впечатления. Обыкновенно они бледнеют и рассеиваются вслед

за пробуждением, если дело идет о сновидении или кошмаре или при наступившем переломе к выздоровлению, в случае бреда, галлюцинаций. Достаточно человеку прийти в себя, как он сейчас же отделяется от их власти и сознает, что это был бред или кошмар. Так, я знал одного горячечного, который спустя час после кризиса со смехом рассказывал о пережитых им страхах в бреду; несмотря на очень сильную еще слабость, он уже смотрел на едва минувшее глазами здорового человека, сознавал, что это был бред, и воспоминания о нем не вызывали уже в нем страха. Совсем иное — то состояние, о котором я веду речь. Я никогда ни на одно мгновение не усомнился в том, что все виденное и испытанное мною в те часы, которые протекли, выражаясь языком докторов, от моей агонии и до пробуждения в мертвецкой, были не грезы, но столь же реальная быль, как и моя теперешняя жизнь и окружающая обстановка. Меня всячески старались сбить с этой уверенности, оспаривали подчас даже и до смешного, но можно ли заставить человека усомниться в том, что для него так же действительно и памятно, как прожитый вчерашний день. Попробуйте уверить его, что он вчера спал весь день и видел сны, когда он отлично знает, что пил чай, обедал, ходил на службу и видел известных людей.

И заметьте, что я здесь не представляю исключения. Перечитайте или прослушайте повествования о таких случаях и вы увидите, что подобные откровения загробного мира имели иногда, очевидно, чисто личную цель, и в таких случаях лицу, получившему их, запрещалось рассказывать о виденном (в извест-

ной части) другим, и хотя бы это лицо проживало после того десятки лет, какой бы это ни был легкомысленный, слабохарактерный и болтливый человек, ни ради чего ни даже самым близким и дорогим ему людям он не открывал вверенной ему тайны. Из этого ясно, насколько свято было для него полученное приказание и что оно во всю жизнь, стало быть, сохраняло характер несомненной действительности, а не продукта его расстроенного воображения. Известно также, что после подобных случаев отъявленные атеисты становились и оставались во всю последующую жизнь глубоко верующими людьми.

Что же это за странность, что за исключительность такая? Каким образом вполне здоровый человек, каким, например, я знаю себя, может, вопреки общему закону для подобных вещей, во всю жизнь оставаться под воздействием какого-то кошмара, галлюцинаций, и даже больше того: как что-либо подобное может изменить его самого, его мирозерцание, когда и житейский опыт и самые ошеломительные катастрофы в этой нашей действительной жизни сплошь и рядом являются бессильными произвести подобную перемену в человеке?

Очевидно, тут дело не в летаргии и галлюцинациях, а в действительно пережитом и испытанном. И, принимая во внимание общую склонность людей к забвению, вследствие чего сложилась и фраза: «Время исцеляет все», всякие потери, пережитые катастрофы, сердечные раны, — не доказывает ли такая необычайная, исключительная памятьливость, что переживший подобное происшествие человек действительно переступил

через ту грозную для нас и величайшего значения грань, за которой времени и забвения уже не будет и которую мы называем смертью?

XXXI

Нужно ли повторять здесь и все другие необычайности бывшего со мною происшествия? Куда, в самом деле, девался мой отек, и отек, как должно думать, очень значительный, если у меня сразу так понизилась температура и он так залил мои легкие, что я ничего не мог выхаркать, несмотря на все способствовавшие тому средства, хотя грудь моя была переполнена мокротой? Как разошелся, во что всосался он, когда и кровь у меня застыла? Каким образом могли так сильно и правильно заработать мои отеки легкие и сердце, если отек оставался у меня до пробуждения? Очень мудрено при наличии таких условий верить, чтобы я мог очнуться и остаться живым не чудом, а естественным путем. Не очень-то часто выпутывается больной из отека легких, даже и при более благоприятной обстановке. А тут, нечего сказать, хороша обстановка: медицинская помощь оставлена, самого обмыли, нарядили и вынесли в нетопленную мертвецкую. И потом, что же это за непостижимое явление? Я видел и слышал не какие-нибудь создания моей фантазии, а что в действительности происходило в палате, и отлично понимал все это, стало быть, я не бредил и вообще был в полном сознании, и в то же время, имея умственные способности в порядке, я вижу, чувствую и сознаю себя раздвоив-

шимся: вижу лежащее на койке свое бездыханное тело, и вижу и сознаю, помимо этого тела, другого себя, и сознаю странность этого обстоятельства, и понимаю все особенности новой формы моего бытия. Потом я вдруг перестаю видеть, что происходит в палате. Почему же? Потому ли, что умственная деятельность моя погружается в настоящую нирвану, что я окончательно теряю сознание? Нет, я продолжаю видеть и сознавать окружающее меня и не вижу происходящего в больничной палате только потому, что я отсутствую, а как возвращусь, я снова по-прежнему буду видеть и слышать все, но уже не в палате, а в мертвецкой, в которой я при жизни никогда не был. Но кто же это мог отсутствовать, если в человеке нет, как самостоятельного существа, души? Как могла отделиться совершенно душа от тела, если здесь не произошло того, что на нашем языке называется смертью? Да и какая бы охота была мне в наш век неверия и отрицания всего сверхчувственного говорить о таком невероятном факте и доказывать его истинность, если бы все не произошло и не было для меня так явственно, осязательно и несомненно? Это естественная потребность человека, не верующего только, но уверенного — уверенного в истинности православного учения о смерти, исповедь человека, чудесным образом излеченного от бессмысленного, грозного и слишком распространенного в наше лукавое время недуга неверия в загробную жизнь.

Сказал Господь устами праведного Авраама в притче о богатом и Лазаре: *если Моисея и пророков*

~~~~~

***не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят*** (Лк. XVI, 31). Пусть читатели вдумаются в этот рассказ, и они убедятся, как верны и непреложны эти слова Господни и в наше время. Люди, не слушающие, не исполняющие животворящих Заповедей Господних, в священных книгах, пророками и апостолами записанных, делаются неспособными верить и тому, что поведает человек, действительно из мертвых воскресший... Таково сердце человеческое, грехом омраченное: имея уши, человек не слышит!

